СОЦИАЛЬНЫЙ ИДЕАЛ КАК ОТРАЖЕНИЕ ПРОТИВОРЕЧИЙ БОЛЬШЕВИСТСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ

УДК 1:316

Р.С. ИСТАМГАЛИН, Д.Р. ИСЕЕВ

В научной отечественной и зарубежной литературе прошлого и настоящего существует огромный пласт работ, посвящённых объяснению феномена большевизма и созданного им общества. Тем не менее и в сравнительно недавно появившихся капитальных исследованиях отмечается в качестве актуальной научной задачи новое осмысление «истории большевизма... самой сути, смысла этого явления, его места и роли в российской истории» [1, с. 25].

Одним из направлений такого переосмысления должно, на наш взгляд, стать соотнесение большевизма – его теории и практики 1920–1930-х гг. – с модернизацией как объективным общемировым процессом, ведущим к возникновению «множественности современностей».

Феномен возникновения практически на одной технико-экономической основе различающихся по многим остальным показателям своего устройства современных (индустриальных) обществ связывается исследователями с определяющим влиянием социокультурной традиции данного общества. Но такая традиция представляет собой некую неразъёмную целостность только с точки зрения необратимости исторического времени и, следовательно, невозможности «здесь и сейчас» пересовершить что-либо уже раз совершённое. Вместе с тем, во-первых, цельная социокультурная традиция общества складывается из совокупности традиций всех исторических субъектов, действовавших в прошлом, во-вторых, из интерпретации этих традиций теми историческими субъектами, которые действуют сейчас. Благодаря таким интерпретациям, формирующим собственное представление о прошлом, появляется возможность оценивать прошлое из сегодняшнего дня как нечто несовершенное, подлежащее изменению.

С точки зрения закономерностей общецивилизационного развития тот социальный идеал, который был бы выбран российским обществом, должен был в той или иной форме быть социальным идеалом нового индустриального общества.

Конечно, весьма упрощённый образ «счастливого коммунистического завтра», который ретранслировался большевистской пропагандой на протяжении гражданской войны, был только одним и не самым решающим аргументом из тех, которые партия предъявила обществу и благодаря которым сумела выйти из неё победителем. В успехе большевиков в борьбе за власть, особенно на протяжении весны-осени 1917 г., нельзя не видеть значительного элемента случайности. Но это была особая случайность – та, которая проявляется в сильно неравновесных системных образованиях. При всей условности проведения прямых параллелей между поведением естественно-природных и социальных систем необходимо в этой связи вспомнить общетеоретический вывод создателей синергетической парадигмы, констатирующий, что «в областях бифуркации индивидуальная идея или даже новое поведение может порождать глобальное состояние» [3, с. 269].

Коммунистический социальный идеал как раз и сыграл в большевистской революционной стратегии, реализованной в тот момент, когда российское общество оказалось в самой острой фазе системного кризиса, роль индивидуальной «идеи», способной повлиять, наряду с «новым поведением», на переход социальной системы на иной качественный уровень и иной, нежели чем прежде шла страна, путь завершения индустриальной модернизации. Большевистская пропаганда 1917–1921 гг., бесспорно, ретранслировала в массы коммунистический идеал в весьма вульгаризированном виде. Ведь на самом деле для основателей марксизма коммунистическое общество было не идеалом, а реально достижимой – в силу считавшихся ими объективных законов саморазвития общества – стадией (формацией) развития человечества. Само нежелание К. Маркса

и Ф. Энгельса рисовать – в отличие от предшественников на стезе коммунистической утопии – подробные формы того, как будет выглядеть и функционировать такое общество, проистекало из понимания его реальности. Значит, и реальные формы оно обретёт тогда, когда придёт его время, сейчас же можно только доказать его неизбежность и указать на главные его качества. Но именно доказательная сторона коммунистического общества, базировавшаяся на законах экономического развития, в большевистской пропаганде практически исчезала даже на её внутрипартийном уровне. Зато на первый план выходили две другие стороны, во многом и придававшие идее коммунизма черты идеального общества. Во-первых, это обещание полноты достижения: и равенства, и справедливости, и удовлетворения потребностей жителей будущего «коммунистического рая». Во-вторых, это объяснение простоты достижения будущего счастья. Для этого достаточно будет только «экспроприировать эксплуататоров» и сделать все материальные блага, имеющиеся в обществе, принадлежащими всем и каждому. Подспудно из такого образа будущего и путей его достижения возникала фигура единственно творца «светлого завтра» – самой коммунистической партии. Надо было только поддержать её в уничтожении зла, проистекающего от эксплуататоров, и затем получить в награду счастливое будущее. Однако в этой вульгаризации и заключалась притягательность коммунистического идеала, как раз хорошо вписывавшегося в российскую социокультурную традицию. Конечно, образ совершенного коммунистического общества неизбежно ассоциировался с христианским представлением о возможности «Царства Божия на земле», которое также представлялось на уровне обыденного массового понимания как полнота исполнения всех желаний: того же равенства и справедливости, а также удовлетворения земных потребностей. Подобная корреляция возникала и с точки зрения «дарственности» совершенства земной жизни: в одном случае, источник дарения – Бог, в другом – коммунистическая партия (большевиков). Но было и одно существенное отличие, своего рода «изюминка», новизны коммунистического идеала – дорога к будущему счастью лежала не через созидание добра в душе человека (в православии – это личное духовное совершенствование, строгое следование божественным заветам), а через разрушение и уничтожение зла в окружающем мире, олицетворённого с конкретными социальными субъектами его воплощения. В последнем случае, конечно, налицо было приспособление коммунистической идеологии к реальному состоянию расколотого российского общества, позволяющему направить в нужном для власти цели разрушительную энергию масс, её агрессивность. Но тем самым, не сознавая это, большевики, изменяя традицию, одновременно начинали и формировать её.

Представление «светлого будущего» как результата устранения препятствий в условиях, когда на путь коммунистического транзита встала только одна Россия, с одной стороны, подпитывало идею необходимости мировой революции, с другой стороны, позволяло представлять весь окружающий «остров социализма» мир как враждебный, требующий неустанной защиты от него и борьбы с ним. Для большевистской власти в такой ситуации возникала двойная возможность: оправдывать те или иные неудачи на пути к «светлому коммунистическому завтра» сопротивлением враждебного капиталистического окружения и параллельно обнаруживать по мере необходимости таких врагов и внутри страны.

Идеализация коммунизма косвенно возвышала и саму коммунистическую партию и её вождей, знающих цель и обладающих сокровенным знанием о путях и средствах её достижения. В известной мере это порождало представление об избранности, о том, что одно только членство в партии делает человека более подготовленным для будущего коммунизма, чем простых граждан.

Наконец объявление целью партии достижения того, что воспринималось обществом как идеал, позволяло в известной мере идеализировать и уже достигнутый уровень на пути приближения к коммунистической цели, считая этот уровень совершенством сегодняшнего дня. Однако в конкретных условиях 1920–1930-х гг. все эти противоречия нового идеала не могли ещё раскрыться полностью. Поэтому он и смог сыграть роль «новой идеи» в момент системного кризиса. Но эффективность сыгранной роли была многократно усилена и «новым поведением», иначе говоря, отличающейся от поведения других политических сил логикой действий большевистской партии в борьбе как за обладание властью, так и за её удержание.

В этой связи нам представляется необходимым обратить пристальное вни-

мание на одно из «врождённых качеств» большевизма, которое ему В.И. Ленин сначала «привил» на правах создателя, а затем последовательно «форматировал» под него и партию как идейно-политический организм, и своих соратников из числа «ближнего круга», составившего узкую партийную элиту ещё и до прихода к власти.

На эмпирической поверхности истории большевизма это качество предстаёт как *изощрённая политическая гибкость в тактических вопросах*, готовность и способность большевистских вождей, правда, не всех и не всегда, но лично В.И. Ленина почти всегда, образно говоря, «если надо, то поменять свою тактику 24 раза за 24 часа».

В философском ракурсе эта тактическая гибкость оказывается сродни *релятивизму*, но релятивизму особого свойства – *политическому*.

В собственно мировоззренческих вопросах и В.И. Ленину, и большевизму в целом был свойствен скорее не релятивизм, а, напротив, значительный налёт догматизма и абсолютизации тех утверждений о мире, которые воспринимались ими как «истины на все времена». Политический релятивизм в ленинском и большевистском исполнении имел свои пределы: это не был способ мышления о мире, способ познания мира, как раз в этих сферах, большевизм, скорее тяготел к догматизму, это был исключительно метод прямого политического действия, инструмент, эффективнейшее оружие, используемое во вполне определённых целях. Такой целью, о чём свидетельствуют исторические факты, лично для В.И. Ленина, а затем и для его соратников, подбор которых, в частности, шёл и по этому критерию, была *власть*: сначала в группе единомышленников, затем в партии, затем в стране, затем во многих странах и так до тех пор, пока власть не охватит всё возможное и реально достижимое пространство. Власть должна была стремиться к абсолютности и достигать этой абсолютности, в этом была её главная ценность, но ценность не абсолютная, а прикладная. Наверное, в этом *прикладном понимании власти, стремящейся к абсолюту*, заключалась одна из важнейших качественных характеристик политической гениальности В. И. Ленина. Особенностью коммунистической идеологии как таковой, и не только в большевистской интерпретации, идеологии, провозглашающей возможность создания общества всеобщей справедливости и равенства на реальной земной почве и из реального «человеческого материала», является латентно скрытая в ней *религиозность, сакральное начало*.

Конечно, любая идеология, будучи по своей природе совокупностью убеждений, взглядов, идей, рождённых человеческой рефлексией относительно окружающего, в первую очередь, социального мира, тяготеет в своих построениях к преодолению несовершенств этого мира во имя его совершенства, то есть к идеализации.

Однако далеко не все теории, идеализируя действительность, доходят в своих конечных устремлениях до представления о возможности изменения самой человеческой природы. Между тем, на что неоднократно обращали внимание разнообразные критики коммунистических взглядов, обобществление собственности только тогда сможет уравнять людей, обеспечить искомое равенство и справедливость, если будут *обобществлены сами люди*, иначе говоря, если они утратят индивидуальность, дающуюся им по праву биологического рождения, приобретут способность одинаково мыслить, одинаково чувствовать, одинаково желать. Конечно, обещание земного «коммунистического рая» было той сильной стороной коммунистической идеологии, которая могла увлечь людей, страдающих от несовершенства их сегодняшней жизни. Но какие бы убедительные аргументы, в том числе и научного характера, в доказательство реальности достижения этой цели ни приводились, но чтобы коммунистическая идея была действительно человеком «присвоена», она должна была – именно в силу её неразрешимого противоречия с биосоциальной природой человека – обрести характер веры.

И в этом тоже была сильная сторона коммунистической идеологии, во многом объясняющая принятие значительной частью советского общества постулатов этой идеологии как своих собственных установок. Во-первых, подспудно вера в коммунизм, как выше отмечалось, вписывалась в многовековую христианскую традицию «Царства Божия на земле». Во-вторых, сама по себе вера, чем она полнее заполняет духовную сферу человека, тем она делает его психологически крепче, сильнее, придавая трансцендентный, вневременной смысл его земному бытию.

Не только российская, вся мировая история пестрит примерами тех свершений человеческого духа, которыми двигала вера. Но особенно убедительными

эти примеры становятся тогда, когда вера одного человека позволяла ему подняться над другими людьми и подвигнуть их на великие коллективные, массовые свершения.

В нашей интерпретации, учитывающей, в частности, появившиеся в последние десятилетия новейшие публикации документов и исследований, связанных с личностью и деятельностью В. И. Ленина [2, с. 967], придание создателем большевизма прикладного характера абсолютизму власти, собственной и партийной, имело своим основанием *личную веру* в истинность земного осуществления коммунизма (пусть и за пределами его личного земного существования).

Именно вера в возможность достижения земного абсолюта – коммунистического общества – не позволяла рассматривать власть как самоцель, власть превращалась в инструмент достижения конечной коммунистической цели. Прикладное отношение к власти освобождало от поклонения власти, превращения её в способ самореализации, отождествления с ней своего собственного «Я». Зато такое прикладное отношение позволяло придать власти абсолютный характер. Власть должна была быть абсолютной в двойном смысле: во-первых, принадлежать только избранным – таким же верующим в коммунизм и не испытывающим в силу своей веры сомнений в собственных действиях; во-вторых, охватывать весь социум во всех его проявлениях именно для того, чтобы обратить несовершенных людей в коммунистическую веру или нейтрализовать их сопротивление, вообще устранить как неподходящий для коммунистического завтра и бесполезный в строительстве этого завтра материал.

Массовая и повседневная жестокость, проявленная большевистской властью как в годы гражданской войны, так и позднее по отношению не только к реальным противникам, но и ко всем тем, кто попадал в разряд «классово-враждебных» или просто «потенциально-опасных» общественных элементов, во многом объяснялась отношением к населению страны, за исключением избранных адептов новой коммунистической религии (впрочем, вскоре и эти адепты, даже самого высокого ранга, свою исключительность тоже утратили), как к «расходному строительному человеческому материалу». Но в основе такого отношения, если не учитывать психопатологических факторов и всегда имеющихся в обществе личностных девиаций, лежала именно вера в совершенство, утверждавшая себя через абсолютность собственной власти в отношении несовершенства.

Таким образом, в системе большевистского властвования политический релятивизм, ограниченный высшим – коммунистическим – смыслом этого властвования, получал не только индульгенцию от любых обвинений в беспринципности, но, основываясь на априорном несовершенстве доставшегося большевикам «человеческого материала», диктовал столь же релятивистское отношение к средствам, используемым в политической борьбе за власть и за удержание власти. Поэтому разнообразные методы насилия и террора также превращались из жестокого, но до известной степени оправданного в условиях войны, средства в инструмент повседневного применения, позволяющий, как начинало казаться, наиболее быстро и эффективно преодолевать несовершенство окружающего социального мира.

В результате именно политический релятивизм во всём развёрнутом выше, его восходящем к коммунистической вере смысле позволял преодолеть в рефлексии и социальной практике пропасть, отделявшую программные партийные установки и социальную действительность России 1920-х гг. Нэповские уступки крестьянству не обладали в таком случае ценностным содержанием для самой власти, будучи простой тактикой реагирования на конкретную ситуацию. Поэтому власть, исходя из своих высших целей, могла сегодня «дать», а завтра «забрать», не заботясь о каком-либо объяснении или оправдании своих действий перед несовершенным материалом, оказавшимся в её управлении. В этом плане и НЭП, и сменивший его форсированный промышленный рывок, сопровождавшийся уничтожением крестьянства не просто как собственника или общинника, а как социокультурного феномена, исторически возникшего в уникальных условиях российского «вмещающего ландшафта», оказывались в своём практическом осуществлении заложниками высшей цели, на пути к которой власть считала себя вправе использовать все те средства, что сочтёт целесообразно-эффективным. В силу всего этого политический релятивизм большевизма приобретал особую силу и эффективность. Из простой политической тактики, свойственной не только большевикам, но, наверное, любой более-менее организованной политической силе, он превращался в деяние, имеющее высшее оправдание, и в

этом смысле до известной степени сакрализировался.

Однако обратной стороной релятивизма вообще и политического релятивизма в частности является редукционизм, тенденция в рефлексии и в практике упрощать сложные объекты и явления, сводить их состояние и поведение к простейшему механицизму линейных причинно-следственных связей.

В принципе, подобная тенденция была в целом изначально присуща восприятию российской интеллигенцией идейных течений и теорий, заимствованных из европейских источников. В основе этой тенденции лежало либо незнание, либо сознательно/бессознательное игнорирование социокультурной традиции, в рамках которой зародилось и развивалось то или иное учение или идейное течение. Будучи догматически воспринято как истина, не требующая дополнительных доказательств, такое заимствованное учение тут же наталкивалось на сопротивление российской действительности, собственной социокультурной традиции.

Судьба марксизма в России очень показательна с точки зрения возможных путей разрешения этого конфликта теории и действительности.

Одна часть отечественной интеллигенции, испытавшая «искушение марксизмом» и убедившаяся в невозможности реализации вытекающей из этой теории практики в России, попыталась найти выход в рамках обращения к российской духовной традиции, что направило их идейную эволюцию в русло поисков совмещения социализма с христианством.

Другая часть, принимая историческую правоту марксизма, пришла к выводу о том, что практическая реализация социализма в России – дело отдалённого будущего, когда в силу естественного развития страна выйдет на тот же уровень, что и европейские страны. На данном же этапе развития следует сосредоточиться на решении демократических задач в рамках буржуазного строя.

Наконец, была и третья часть, которая предпочла «подогнать» российскую действительность под марксистские формулы, что и потребовало неизбежного упрощения этой действительности.

Переходный процесс от аграрных структур к индустриальным в России, как и в других странах, сопровождался конфликтным сосуществованием в обществе экономических, социальных, культурных пластов и явлений, принадлежащих и прошлому, и настоящему, и будущему.

Но вместе они составляли единую систему, развивавшуюся как раз за счёт тех взаимодействий, в которые каждодневно вступали между собой отдельные элементы и структуры. Центральное противоречие между аграрным и индустриальным укладами на наиболее доступной взгляду поверхности концентрировалось в политической области и сосредоточивалось вокруг проблемы самодержавной политической власти. Но в рамках центральной институциональной системы самодержавие, пусть медленно, но дрейфующее в сторону конституционализма, оставалось тем звеном, которое ещё скрепляло всю систему, содействовало удержанию её в слабеющем, но относительном равновесии.

Но основная методологическая опасность редукционизма не столько в науке, сколько в политическом мышлении и практике кроется в том, что упрощение сложного до простого с неизбежностью диктует и поиск простых решений, не позволяющих предвидеть и просчитать все последствия, вызываемые реакцией на это решение всей системы.

Тем не менее в масштабах всего российского исторического времени, отсчитываемого с XVIII века, конец 1930-х гг. предстаёт как достижение обществом того момента модернизационного процесса, когда новое индустриальное общество, условно говоря, «встало на свои ноги» и обрело способность к саморазвитию, естественно, в рамках той собственной системности, которое оно обрело в ходе модернизации.

Системообразующими условиями советского индустриального общества, стали факторы, проистекающие как из предыдущей дореволюционной традиции, так и вновь созданной, советской практики:

– экстенсивный тип экономического развития (в основном за счёт вовлечения в народное хозяйство всё новых ресурсов);

– диспропорциональная структура народного хозяйства;

– высокий уровень милитаризации народного хозяйства, в первую очередь, промышленного производства;

– широкое использование методов внеэкономического принуждения к труду;

– жёсткая, предельно централизованная и идеологизированная политическая система «партии-государства» во главе с обладающим максимальной полнотой личной власти вождём;

– постоянно действующий репрессивный механизм идеологического и политического контроля;

– придание государственной форме союза республик унитарного характера.

Провозглашение руководством страны в конце 1930-х гг. построения основ социализма означало, что именно эту форму следует понимать как воплощение, пусть ещё и несовершенное, того коммунистического идеала «царства свободы, справедливости и равенства», который был обещан большевиками народным массам и ради которого были принесены столь значительные жертвы.

Очевидное расхождение институциональной системы государственного социализма с коммунистическим идеалом, конечно, до определенной степени могло быть объяснено через несовершенство не самого советского общества, а наличие враждебного капиталистического окружения, препятствующего социализму победить «полностью и окончательно».

Потому Конституция 1936 года может быть интерпретирована и с точки зрения модификации, которую претерпел в процессе завершения большевистского варианта индустриальной модернизации исходный коммунистический социальный идеал. Проходящее через весь текст Конституции «красной нитью» соединение социализма как уже достигнутого обществом состояния с сохранением государственной формы организации общества означало, что коммунистический идеал не отрицается, а переносится в отдалённое будущее, связанное с уничтожением главного препятствия для его осуществления – мирового капиталистического антагониста. Вместо него обществу предлагался советско-социалистический идеал, основные черты которого воплощались в статьях Конституции, де-факто не реализуемых в социальной практике 1930-х гг., но которые тем самым неявно обозначались в качестве целеполагания последующего движения общества, созидающего социализм «полностью и окончательно».

Модификация коммунистического идеала в идеал социалистический, в котором бесклассовость соединялась с партийно-государственной диктатурой, отражала в этом смысле противоречивую сущность советской модернизации, завершившейся созданием индустриального общества, основанного на абсолютном доминировании государственной собственности, служащей фундаментом партийно-бюрократической диктатуры.

Строительство социализма в большевистском исполнении превратилось в строительство государственного социализма, где обобществление средств производства становилось основой не для постепенного «отмирания» хотя бы части государственных функций за счёт их перехода на уровень выборного самоуправления освободившихся от гнёта частной собственности трудящихся, а, наоборот, для ещё большего усиления государства.

Тем самым на новом цивилизационном уровне развития российского общества было воспроизведено изначальное противоречие, заложенное в архетипе всеобщего согласия, – противоречие между вечевым самоуправлением и патримониальным, вождистским властвованием. На смену всеобщему согласию, достигаемому в предыдущие века российской истории через самодержавную институциональную систему, персонифицируемую в монархе, пришло всеобщее согласие, обеспечиваемое советской партийно-государственной институциональной системой, персонифицируемой в «великом вожде».

1. Ахиезер, А.С. Социокультурные основания и смысл большевизма [Текст] / А.С. Ахиезер, А.П. Давыдов, М.А. Шуровский, И.Т. Яковенко, Е.Н. Яркова. Новосибирск: Сибирский хронограф, 2002.

2. Булдаков, В.П. Красная смута: природа и последствия революционного насилия [Текст] / В.П. Булдаков. 2-е изд., доп. М.: РОССПЭН, 2010.

3. Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса: новый диалог человека с природой / пер с англ. М.: Прогресс, 1986.